

Илья Утехин

## ЯЗЫК РУССКИХ ТАРАКАНОВ (К ПОСТАНОВКЕ ВОПРОСА)

In normal daily life this sort of thing is  
common enough; it passes muster.

Gregory Bateson<sup>1</sup>

### Принцип принципа, любовь у стенки и размножение насекомых

Люди принципиальные всегда следуют какому-нибудь принципу (хотя бы «никогда не изменять своим принципам») и всегда готовы это продемонстрировать. Как они там следуют и что демонстрируют на самом деле — еще вопрос, ведь на всякое правило они же найдут и исключение.

Сказать, что человека принципиального узнаешь за версту по походке, было бы преувеличением. Про субъекта малознакомого сразу не поймешь, «просто так» он живет или же все время держит в голове принцип и сверяет с ним свою жизнь. Но вот при более тесном знакомстве, в повседневном общении (в семье или в другом коллективе) принципиальность иного ближнего, когда тот не в духе, систематически оборачивается стремлением призвать всех к порядку, воспитать-таки наконец. Локоть родственника, товарища и брата норовит тебя задеть, притом намеренно и большей частью по пустякам.

Мелочи жизни вообще составляют континуум, членимый до бесконечности, было бы желание — найдется еще что-нибудь. Чем мельче мелочи, тем больше их число. Где ты опять оставляешь свои носки, ты никогда не выключаешь свет на кухне, почему за тобой всегда надо убирать, никогда не кладешь вещи на место, крошки на скатерти, и мусор не вынесен, сколько раз тебе можно напоминать об этом, и еще: когда наконец ты отнесешь зонтик в

<sup>1</sup> «В повседневности такие вещи довольно обычны, на них не заостряют внимания» (Bateson 1972, 243).

## ЯЗЫК РУССКИХ ТАРАКАНОВ (К ПОСТАНОВКЕ ВОПРОСА)

мастерскую? Что-нибудь в этом роде — на любую тему. Отметим характерные «опять», «всегда», «никогда» и тому подобные «доколе?», указывающие на неединичность случая.

Хотелось бы противопоставить такой иногда вдруг пробивающейся принципиальности не беспринципность (под ней понимают неразборчивость в средствах достижения цели, а это тут ни при чем), но некое более спокойное отношение к действительности, не связанное рабским следованием условиям и переживаниями по их поводу. Назовем это прагматичностью. Благодаря такой позиции облегчается достижение практической цели. Ведь, столкнувшись с проблемой и непременно найдя виноватого, «принципальный» партнер начнет высказывать претензии, вспоминать все былые прегрешения: «я же говорил» или «тебе еще когда это было сказано». Он воспользуется случаем научить тебя уму-разуму даже в ущерб непосредственному разрешению конфликта. Другое дело — жертва этого импровизированного воспитания. Отчасти движимая внушенным ей чувством вины, а отчасти — желанием прекратить эту безобразную сцену, жертва хочет прежде всего ликвидировать проблему подручными средствами, здесь и сейчас, не обращаясь к моральным аспектам и долгой предыстории. Которая, кстати, сторонами трактуется по-разному.

Воспитательные ситуации неизбежно возникают при общении с молодым поколением, и тут только особо талантливый родитель умеет обойтись без обидной риторики. Как бы ей, жертве, ласкало слух благородное «убери, пожалуйста, крошки со скатерти» — ан нет, она слышит все то же «доколе?». Отчасти вопрошающего можно понять, ибо у жертвы наготове тактика бытового саботажа, способная вывести из себя кого угодно: саботер не отказывается делать, но и не делает, перекладывая работу на другого. В ответ на просьбы о помощи он отвечает «сейчас» и «ага»<sup>2</sup>, но исполнения приходится ждать, причем безрезультатно. Проще уж самому, поскольку плавное течение жизни натывается на гору грязной посуды и тормозится отсутствием чистой сковороды.

Даже самому спокойному родителю временами хочется быть принципиальным. Есть такая корейская сказка про любовь матери. Мать встречает сына, вернувшегося с учебы, но, прежде чем пустить его в родной дом, испытывает достигнутое отпрыском мастерство: при погашенном свете просит его писать иероглифы,

<sup>2</sup> Ср. хамски-иронические «щас!» и «ага!» в функции демонстративного отказа повиноваться.

пока сама печет пирожки. Пирожки получаются хорошие, а иероглифы — кривые. Таким образом, мать дважды отсылает сына учиться дальше, отказывая в ночлеге, — на третий раз иероглифы выходят не хуже пирожков (*Материнская любовь* 1955, 148—152). Короче, жалея младенца — губишь его. Поучительно, нечего сказать: я тебя, конечно, люблю, но проявлений любви в виде ласки ты от меня не получишь, потому что не такой хороший, как должен, а ты помучайся, потерпи, атаманом станешь (своей же пользы сам не понимаешь), а послушаться меня не смей. Так измываться — из самых благих побуждений! — можно только над дитятейю, которое в высшей степени зависит от тебя и никогда не пошлет тебя на фиг со всей твоей педагогикой.

Принципиальность как своеобразное проявление заботы встречается как в отношениях родителей и детей (любого возраста), так и в отношениях супругов. Что неудивительно, поскольку этот «ген принципиальности», должно быть, передается от поколения к поколению даже и внегенетическим путем: бывшие отношения со своими принципиальными воспитателями служат образцом для новых отношений, складывающихся с супругом или со своими детьми. Так что громом и молниями по поводу неблагодарных игрушек родители, сами о том не задумываясь, программируют схемы отношений своих отпрысков в их будущей семье.

Впрочем, ребенок с природной склонностью к спокойному прагматизму рано научается делать поправку на обстоятельство, списывая свои беды на усталость, плохое самочувствие или настроение воспитателя. А кроме того, проще признать, что ты действительно плохой, и почувствовать себя виноватым, чем воспринять принципиальность воспитательных потуг буквально — в том прозрачном смысле, что тебя лишают любви. По крайней мере, сейчас, в данный момент. По «принципиальным» соображениям.

Но, боже мой, из-за чего? Жертве гнева, случается, «попадает» не меньше, чем какому-нибудь распоясавшемуся хулигану («Что, попало тебе?» — спрашивают жертву сочувствующие). Причем достается, возможно, и за дело — но тяжелая артиллерия скандала и аргументы, апеллирующие к моральному облику, контрастируют с мелким, а то и ничтожным масштабом повода.

Когда такие случаи повторяются регулярно, это указывает на очевидный, в общем-то, факт: систематические ссоры вовсе не имеют в виду достижение практической цели, а коренятся в отношениях между партнерами, причем скандалы испытывают эти самые отношения на прочность. Прочность отчасти обеспечивает

совместное проживание: ведь супругам друг от друга и детям от родителей никуда не деться — не уходить же, в самом деле, из дому (некоторые, впрочем, со временем демонстративно уходят). Так что удобнее — и безопаснее всего — прижать ближнего к родным стенам. И там, поставив к стенке, его воспитывать.

Как известно, в целях воспитания помимо громкого скандала нередко прибегают к установлению тишины — к демонстративному разрыву отношений: я с тобой «не разговариваю» (интересно, а что ты делаешь, сообщая мне об этом?). Государства тоже, случается, временно отзывают своих послов, точь-в-точь как коммунальный сосед «не общается» с соседом (в смысле — не здоровается, встречаясь на кухне). Тишина получается зловещей, потому что на самом деле несчастные вынуждены, хотя бы и без слов, общаться уже своим одновременным присутствием в замкнутом пространстве, а то и молча хлебать суп за общим семейным столом. Их позы и взгляды красноречивы. Но неразговаривающий все-таки гладит неразговариваемому рубашку или оставляет ему деньги на школьный завтрак.

Инициатор и скандала и зловещей тишины убежден, что прибегает к таким мерам не по своей воле и не просто так, а отвечая на неблагоприятное поведение воспитуемого. Неблаговидность эта может состоять в чем угодно, в том числе в словах, дерзких или обидных. Но спросите воспитуемого, и он скажет, что не он первый начал, а если что и сказал — так его спровоцировали. Установить, кто на самом деле «первый начал», нельзя уже потому, что этого «самого дела», истины в последней инстанции, попросту нет, сколько ни разматывай долгую историю систематических ссор. Тут у каждой стороны — своя правда.

Кроме того, в семье все осложняется еще целым рядом обстоятельств. Во-первых, партнеры изначально неравноправны. Разве может тот, кто правомочен устраивать громы и тишину, быть зачинщиком? Это он диктует здесь правила игры. Во-вторых, право сильного возникает не на пустом месте, а основано на его обязанностях. Так он проявляет свою заботу и даже любовь, стремится сделать жизнь лучше и справедливее. Он бушует, если можно так выразиться, по обязанности — ради установления порядка. В довершение всего узы родственных чувств, связывающие партнеров, заставляют воспитуемого парадоксальным образом признавать и гром и безмолвие проявлениями помянутых заботы и любви, а самого себя чувствовать виноватым. Да хоть и виноват — но пропади она пропадом, такая забота.

Правду сказать, не только родители из детей, но и дети из родителей веревки вяют, это у них взаимно. Знакомый врач делился как-то курьезами: некий младший школьник дома ест только в ванной, если ему накроют на работающей стиральной машине. А все потому, что в раннем детстве, чтобы не капризничал за едой, его развлекали зрелищем — как там все крутится и мелькает. Теперь вот привык и по-другому есть отказывается. Или такой случай — уж и не знаю, как оно там у них исторически сложилось: у девочки пяти лет травма — результат падения со шкафа. Что она, спрашивается, там, на шкафу, делала? И сказать неудобно: справляла в горшок большую нужду. Да так оттуда и сверзилась. Родителям, которым приходится давать подобные объяснения, есть отчего смутиться: вот до каких «странностей» доводит иногда банальное вроде бы приучение к горшку.

Или вот знакомая няня про одних клиентов говорила, что они спят по ночам на кухне своей однокомнатной квартиры, а ребенок кладут в комнате на тахту. Однажды заснул на тахте после долгих криков — решили, что только там и спит. А ребенку — три месяца<sup>3</sup>. Как оно так сложилось, понять несложно: однажды что-то по стечению обстоятельств оказалось эффективным, а теперь это что-то повторяется в целости, без изменений и с суеверным трепетом — в надежде, что и снова все получится. Так взрослые люди и трехмесячному ребенку сдадутся в рабство.

<sup>3</sup> Ср., например, как детский психолог рассказывает о похожей далеко зашедшей ситуации. Клиент психолога излагает проблему: «Вы знаете, моему сыну четыре года, я серьезный человек, я доктор наук, я бизнесмен, вот этот ребенок, мы его очень ждали, мы его очень любили, но теперь он настоящий тиран. Потому что, об этом никто не должен догадываться, но я каждое утро и каждый вечер лежу на коврик, катаю по себе машины, ставляю своего любимого Сереженьку взять в рот ложечку. Потому что мой ребенок имеет такие поражения мозга, не может даже держать ложку в руке и заставляет меня проделывать разнообразные манипуляции для того, чтобы ребенок не умер с голоду!» И что же оказывается? «Поражения мозга» — естественно, вымысел, чтобы как-то оправдать даже и внешне абсурдное поведение взрослых. «Когда мы начали работать, выяснилось, что мальчик прекрасно держит ложку в руке, имеет довольно тонкую моторику, очень хорошо владеет своими руками, но знает, каким образом можно воздействовать на своих родителей, чтобы родители оказали ему максимум внимания. И это способ активного манипулирования, который к своим четырем годам он очень хорошо освоил» (цитируемые тексты взяты из выступления Анны Скавитиной в программе «Личное дело» (25.08.2002), радио «Свобода»; транскрипция передачи взята с интернет-страницы: URL: <<http://www.svoboda.org/programs/pf/2002/pf.082502.asp>>).

Как теперь говорят, «у всех свои тараканы». Про «всех» это, возможно, и преувеличение<sup>4</sup>, в оправдание кому-то придумано, но в целом верный тезис. Это и вам на заметку, уважаемые граждане составители словарей «Новое в русской лексике»: слово «таракан» в современном просторечии может значить присущие индивиду или его семье странности, легкие отклонения от нормы, постороннему человеку кажущиеся абсурдными. Интересно задуматься, что это в таракане настоящем, с шестью лапками и крыльями (знаете ли вы, что у таракана есть крылья и он умеет летать, только невысоко?), так вот, что это в обычном кухонном таракане так приглянулось носителям русского просторечия, чтобы переносно обозначить этим словом завихрения (они же — «заскоки») ближнего. Вообще, таракан — это что-то такое неприятное и даже гадкое, хотя в целом для жизни не опасное. Самое же характерное, что, придя, например, в ресторан, сразу и не поймешь, водятся ли там тараканы. Это вот когда один какой-нибудь экземпляр выползет на скатерть или, чего доброго, на тебя полезет, тогда понятно: водятся. Но все равно всегда неожиданность получается. Так и с теми тараканами, что в переносном смысле: ведь не написано же у юноши на лице, что он ест только на стиральной машине, а у девочки, что она какает только на шкафу.

У взрослых тоже по лицу всего заранее не узнаешь, а у них тараканов — в смысле переносных — за жизнь иногда накапливается будь здоров, у каждого свои. Пока имеешь с ними дело в обстановке строго церемониальной и на равных, все ничего. Но вот, скажем, говорят тебе на ухо: «Вы уж, пожалуйста, то-то и то-то при нем не упоминайте, он этого не любит». И приходится следовать совету, чтобы не попасть под горячую руку. Или оказываешься в гостях, а там — свои правила, свой Фома Фомич Опискин: извольте подыгрывать, чтобы никого не обидеть.

Есть, впрочем, люди просто эксцентричные, которые придумывают себе маленький спектакль и играют в нем роль, но «тара-

<sup>4</sup> Интересно попытаться сформулировать, что такое «отсутствие тараканов». Этакая нулевая ступень нормального человеческого коммуникативного поведения, по отношению к которой отсчитываются завихрения. Человек без тараканов доброжелателен, настроен на сотрудничество, честен и без камня за пазухой, без двойного дна: говорит прямо, но тактично. И не пытается манипулировать собеседником. Плюс к тому — собственно, с этого в данном контексте следовало бы начать — такой человек не сдается ближнему в абсурдное рабство, не идет на поводу у тирана, хотя бы и несознательного.

канов» у них тем не менее нету. Так, например, чтобы разнообразить свою внешность, можно ходить повсюду в шарфе; а иной с этой же целью и на голове выбреет себе какой-нибудь знак доллара или что похлеще. Про неброские странности вроде постоянного ношения при себе кипятильника, кружки и провизии на три дня («чтобы три дня в лесу выжить», притом что в городе леса не бывает) уж и не говорю. Все это — невинные игры, от которых окружающим не холодно и не горячо, ибо игрок ничего никому не навязывает, уваживать себя не заставляет. «Тараканосцы» же, напротив, всегда готовы понервничать, они переживают и напрягаются по каждому пункту своей инаковости, только прикоснись. Вот еще говорят: «у него на этом “пунктик”». И тут уж от кого-то обязательно требуется уступить.

В принципе тараканы плодятся и размножаются среди родственников, от старших к младшим и обратно. Но когда вы готовы примириться с чьими-то специфическими особенностями и этот кто-то — вам не родственник, то это уже показательно. Либо вам что-то от него надо, либо... вы принимаете его таким, каков он есть. Прощать и даже поощрять чьи-то слабости, а то и проецировать тараканы партнера, как бы глядя на мир его глазами, — не в этом ли заключается любовь? «Поделись улыбкою своей» — с этого ведь, как известно, все только начинается. А дальше бывает разное — приходится, например, что-то делить («на шестнадцать») — или еще чем-нибудь делиться. Хотя бы — тараканами.

### Приручение тараканов в зеркале художественной литературы

Из привычных форм общения составляется то, что можно назвать «коммуникативным стилем семьи». Его особенности — коммуникативные тараканы — не видны постороннему глазу, разве что очень поверхностно. В одном доме «принято» часто скандалить, в другом — надуваться друг на друга, создавать напряженную атмосферу; и то и другое стараются, как правило, не очень показывать посторонним — как бы признавая тем самым, что обычаи эти составляют не самый презентабельный аспект семейного быта. Изнутри эти особенности не кажутся чем-то необычным, к ним привыкли или, по крайней мере, с ними мирятся, пока не находит коса на камень. Бывает, что и никогда не находит; тогда иному участнику

семейного коллектива семейное грядущее кажется этакой унылой вечностью — что-то вроде бани с тараканами по углам.

В силу особенностей своего бытования (по углам) этот материал не очень доступен исследователю. Ну, сколько семей может быть известно одному человеку в *таких* подробностях<sup>5</sup>? Разве что психотерапевты постоянно в эти подробности окунаются, но тут уж едва ли речь идет об обыденности: мало кто в нашем отечестве ходит к психотерапевту, даже будучи доведен до крайности. Поэтому мы обратимся к примерам, не взятым непосредственно из жизни, а переработанным из жизненной руды в материю литературного текста. Примеры из художественной литературы ничуть не хуже реальных кухонных диалогов — более того, жизненный материал, не будучи обработан художественно, оказывается беднее и менее выразителен. Судите сами. Положим, попал в ваши руки некий бытовой диалог плюс минимальные знания о тех обстоятельствах, которые сопутствовали его появлению. Но эти знания никогда не окажутся исчерпывающими и достаточными — по крайней мере, об их достаточности нельзя судить, не будучи непосредственным участником анализируемой ситуации<sup>6</sup>. Кроме того, нельзя поручиться и за то, что этот зафиксированный вами диалог — самый показательный в отношении интересующего вас явления. Художественное же произведение — и талант автора тому порука — не содержит случайного; вот вам весь необходимый контекст, читайте себе роман, пожалуйста. Художественная правда гарантирует, таким образом, особого рода достоверность и тем самым придает некоторый смысл филологически некорректной процедуре обсуждения поступков литературных персонажей, будто бы они живые люди<sup>7</sup>.

Ф. М. Достоевский, написав «Село Степанчиково», гордился тем, какие яркие и «безукоризненно обделанные» русские характеры у него получились (Достоевский 1985, 28:1:324—327). В данном случае нас не интересуют русские характеры как таковые. Для их раскрытия в романе используются удивительно психологичес-

<sup>5</sup> Помимо собственного опыта есть еще такие источники, как сплетни и рассказы знакомых о своих семейных неурядицах. Там уже произведен отбор подробностей и, следовательно, задана интерпретация в пользу одной из сторон.

<sup>6</sup> А являясь участником, ситуацию нельзя анализировать объективно, с внеположной точки зрения. Получается парадокс.

<sup>7</sup> Тут следует заранее попросить прощения у чуткого читателя за подобное обращение с художественным текстом.

ки точные и жизненные, пусть и в сатирическом ключе выполненные, описания интересующих нас форм поведения — на них мы и остановимся, самое «вкусное» (художественность), увы, оставляя за кадром.

Отношения между главными героями романа Егором Ильичом Ростаневым и Фомой Фомичом Опискиным (а также между Ростаневым и его матерью) выявляются в длинной серии эпизодов, внутренне подобных друг другу. Сначала, задолго до уяснения этого подобию, читатель узнает кое-что о предыстории событий, и в частности о характере Егора Ильича. Полковник Ростанев всегда безропотно сносил и сносит не особенно оригинальные попреки матери, укоряющей его за непочтительность и эгоизм, и это несмотря на его очевидную для посторонних наблюдателей и доведенную до самоотверженной крайности преданность и покорность: «...дядя был такого характера, что наконец и сам поверил, что он эгоист, а потому, в наказание себе и чтоб не быть эгоистом, все более и более присылал денег» (Достоевский 1972, 3:7)<sup>8</sup> — денег для содержания своей матери и ее мужа, отставного генерала Крахоткина, живших на широкую ногу за счет «непочтительного сына».

В описании нарочито вздорного и театрального поведения персонажей, в том числе и генеральши, в пересказе их речей Достоевский — устами рассказчика, которому полковник приходится дядей, — приводит в кавычках и курсивом, как типические формулы, характерные выражения (в наших цитатах ниже они выделены жирным шрифтом). Так, когда после смерти генерала Крахоткина Егор Ильич приглашает мать переехать в Степанчиково, та устраивает целое представление с демонстративным отказом — хотя между тем уже пакует чемоданы. Читатель позднее увидит, что генеральша и ее «юродство» (в этом значении слово «юродство» ныне более распространено в русском языке) — тусклое подобие, незрелый предвестник изобретательности и артистизма Фомы Фомича. Тут пока еще все узнаваемо — и эта узнаваемость выделена в тексте:

Она говорила, рыдая и взвизгивая... что скорее будет есть сухой хлеб и, уж разумеется, «запивать его своими слезами», что скорее пойдет с палочкой выпрашивать себе подавание под окнами, чем склонится на просьбу «непокорного» переехать к нему в Степанчиково и что **нога** ее никогда-никогда не будет в доме его!

<sup>8</sup> Далее в скобках приводятся лишь номера страниц этого издания.

И далее — про «ногу»: «Вообще, слово **нога**, употребленное в этом смысле, произносится с необыкновенным эффектом иными барынями...» (9). Заставив себя просить и наконец согласившись, «она говорила, что только **попробует** жить у сына, покамест только испытает его почтительность» (10). Все эти подмеченные Достоевским пункты — общие места, довольно предсказуемые<sup>9</sup>, и оттого в тексте романа появляется в целом не характерное для романной лексики «и т.д.», как, например, в следующем примечательном пассаже о матери Егора Ильича:

Когда она злилась, весь дом походил на ад. У ней были две манеры злиться. Первая манера была молчаливая, когда старуха по целым дням не разжимала губ своих и упорно молчала, толкая, а иногда даже кидая на пол все, что перед ней ни поставили. Другая манера была совершенно противоположная: красноречивая... Разумеется, открывалось, что она все уж заранее предвидела и только потому молчала, что принуждена силою молчать в «этом доме». «Но если б только были к ней почтительны, если б только захотели ее заранее послушаться, то» и т.д. и т.д. (45).

На протяжении всего романа генеральша и Фома Фомич почти все время сердятся, сердятся демонстративно. Егор Ильич тяжело переживает эти сцены и стремится их избежать, взяв вину на себя, — он имеет обыкновение искать рассерженному ближнему оправдание и объяснение его гневу, особенно если речь идет о его матери. «Теперь на меня сердится. Оно, конечно, я виноват. Я, братец, еще не знаю, чем я именно провинился, но уж, конечно, я виноват...» (11). Или в ответ Фоме Фомичу: «Да уж я и сам понимаю теперь, что эгоист! Нет, шабаш! исправлюсь и буду добрее!»<sup>10</sup> (17).

Чтобы избежать проявлений немотивированного (с внеположной точки зрения) гнева, причина которого и ему самому не всегда понятна, Егор Ильич постоянно делает скидку гневливому ближнему, обращается с ним в высшей степени предупредительно и деликатно. То же он советует и своему племяннику, по поводу появления которого испытывает опасения: «Вообще будь осторо-

<sup>9</sup> Темы шантажа звучат в пересказе слов генеральши на разные лады, особенно мотив ложного ухода. Инсценировка ухода и побуждений к уходу далее оказывается одним из повторяющихся мотивов в поведении Фомы.

<sup>10</sup> «Дай-то бог! — заключает Фома Фомич...» (17), закрывая унижительное и мучительное, с непременным требованием ответа и постановкой Егора Ильича в позицию экзаменуемого, обсуждение вопроса о том, горит ли в полковнике Ростаневе зажженная Фомой искра.

жен, почителен, не противоречь, а главное, почителен...» (37). Как выясняется, на Сергея, не видев его, «все» (т.е. те, кому принадлежит право навязывать свое мнение) уже сердятся — а он не может понять, чем мог заранее рассердить людей, ему еще неизвестных. Появление в компании нового лица, не свикшегося с принятыми здесь условностями, чревато неприятностями, которые Егор Ильич предчувствует и которые пытается смягчить:

Я уж так заранее велел, чтоб тебя, как приедешь, прямо вези в мезонин, чтоб никто не видал... А я покамест там всех понемногу приговлю. Ну, и с богом! Знаешь, брат, надо хитрить. Поневоле Талейраном сделаешься. Ну, да ничего! (40).

Обязательная часть такой дипломатии — осторожность по отношению к любому эксцентричному поведению агрессора<sup>11</sup>, но и не только агрессора. По отношению к неагрессивной эксцентричности это выглядит как деликатность и толерантность, изначальная расположенность видеть в ближнем скорее хорошее, нежели дурное. Так, подобно тому как Егор Ильич оправдывает особенности характера Фомы — в том, как много он страдал, в его прежних унижениях в бытность его шутом у генерала Крахоткина, — объясняет он и странности Татьяны Ивановны, богатой невесты лет тридцати пяти, помешанной «на амурах»:

Вдвое надо быть осторожнее с человеком, испытавшим несчастья! Ты, впрочем, не подумай чего-нибудь. Конечно, есть слабости: так иногда заторопится, скоро скажет, не то слово скажет, которое нужно, то есть не лжет, ты не думай... все это, брат, так сказать, от чистого, от благородного сердца выходит, то есть если даже и солжет что-нибудь, то единственно, так сказать, чрез излишнее благородство души — понимаешь? (39).

Оставляя в стороне пародийный характер речи, иронию в каждом словосочетании вроде «излишнее благородство души», мы видим здесь тактику оправдания поведенческих странностей ближнего. Странностей, которые в принципе в других условиях могли бы быть восприняты как оскорбительные, глупые, неприличные.

<sup>11</sup> Здесь и далее мы будем употреблять слова «агрессор» и «жертва» как термины для обозначения партнеров по патологической асимметричной коммуникации. Подчиненную и претерпевающую сторону в систематических столкновениях описываемого типа мы будем именовать жертвой, а активную сторону — агрессором. См. ниже о так называемом «комплементарном схиэмогенезе».

В логике этой тактики оправдываемый — сказавший нечто неуместное — человек «на самом деле» не думает так, как говорит, а только так говорит, как бы машинально, второпях и потому не несет за свои слова ответственности, как отвечал бы за свои поступки и слова человек вполне здоровый и нормальный, человек, от которого можно требовать соблюдения приличий и ответственности за свое поведение. Таким образом, статус слов как поступков отменяется, слова оказываются игрой, псевдопоступками. В русском языке для обозначения, в частности, этой тактики используется одно из значений глагола «спускать» в контекстах вроде «они ему все спускают».

На Татьяну Ивановну такое право на скидку, по молчаливому соглашению, распространяется, в частности, потому, что ее держат за полоумную:

Все ее эксцентричности, к удивлению моему, как будто не обращали на себя ничего внимания, точно наперед все в этом условились (44);

вдруг, закрыв рот платком и откинувшись на спинку кресла, захохотала, как будто в истерике. Я оглядывал всех с крайним недоумением; но, к удивлению моему, все были очень серьезны и смотрели так, как будто ничего не случилось особенного (45—46).

Скидка партнеру по коммуникации и заключается в том, что все делают вид, что ничего не случилось, хотя — с внешнеположной точки зрения — что-то нарушающее обычный ход вещей явно произошло.

Агрессору (прежде всего Фоме Фомичу) скидка гарантирована его доминирующим статусом: что бы ни было им сказано, сказано им по праву и не нарушает конвенций «нормальности», приличия. Со своей же стороны агрессор оставляет за собой право усмотреть в любых словах жертвы нарушение коммуникативных конвенций — и демонстративно «обидеться»<sup>12</sup>.

На этом фоне нормальная, недеформированная коммуникация протекает как бы подпольно. Так, общение племянника с дядей, где всплывают все невозможные к обсуждению в гостинной темы, происходит тайно, встреча Егора Ильича с крестьянами, пришедшими жаловаться, — за конюшнями. На публике Егор Ильич и

<sup>12</sup> Обида — интересная тема для отдельного исследования: она представляет собой сложную (связанную с культурно-специфичными сценариями) эмоцию и культурный концепт, важный для понимания особенностей концептуализации сферы межличностных отношений.

еще ряд персонажей его лагеря считают необходимым уважать чувства ближнего (агрессора), избегать «сцен» и подыгрывать ему, делая вид, что все идет нормально, даже если ситуация вызывает у них острый эмоциональный дискомфорт. Таким образом, взаимодействия людей, чьи отношения между собой не затронуты тараканами, несут на себе отпечаток патологии уже в силу того, что они — порядочные люди и остаются таковыми и по отношению к агрессору, тем самым выбирая себе роль, близкую к роли жертвы. Они играют в навязанном им спектакле, делают вид, что ничего особенного не случается<sup>13</sup>, и стесняются выражать свои настоящие чувства. Так, тетушка Прасковья Ильинична разливает чай: «Ей, видимо, хотелось обнять меня после долгой разлуки и, разумеется, тут же расплакаться, но она не смела. Все здесь, казалось, было под каким-то запретом» (43).

Рассказчик, племянник Егора Ильича, пытается поддержать приличия. Неучастие в общем разговоре, устранение от общения — при явном интересе к его персоне со стороны окружающих — было бы нарочитым: «...не знаю, почему, но мне вдруг показалось, что я обязан завести самый любезный разговор с дамами» (46). Попытка не просто сделать вид, что ничего не случилось, а активно сконструировать нормальное общение, заставить всех включиться в него начинается с того, что в разговоре предлагается тема, которая не может быть обидной ни для кого, кроме говорящего: Сергей заговаривает о собственном конфузе. Ожидание благоприятного общения продолжения беседы продиктовано тем обстоятельством, что естественной реакцией окружающих, следующих кооперативным конвенциям<sup>14</sup> и приличиям, было бы обращение этой темы в шутку. Той же тактики поддержания разговора позже придерживается и дядюшка — рассказывает о собственной неловкости, скромно выставляя себя в комичном, невыгодном свете. Однако Егор

<sup>13</sup> В повседневности деформированная коммуникация в группе предполагает конструирование целой системы эвфемизмов: так, например, в семье алкоголика, где факт алкоголизма упорно не признают (что связано, в частности, с тем, что не признает его сам алкоголик), очередной запой называют «заболел».

<sup>14</sup> Здесь имеется в виду, что они настроены на сотрудничество, на совместное достижение определенной коммуникативной цели, т.е., согласно Г. П. Грайсу (Грайс 1985), следуют «принципу кооперации». Ниже речь пойдет о формах общения, так или иначе нарушающих не отдельные постулаты речевого общения, а принцип кооперации в целом, поэтому мы будем называть их «некооперативными».

Ильич не встречает доброжелательного отклика на свой рассказ, ибо право быть интересным рассказчиком и поддерживать нить разговора принадлежит Фоме Фомичу:

— Кончили ль вы? — спросил он [Фома] наконец с важностью, обращаясь к сконфуженному рассказчику.

— Кончил, Фома.

— И рады?

— То есть как это рад, Фома? — с тоскою отвечал бедный дядя (73).

Нет необходимости переписывать в нейтральных терминах содержание каждой реплики, чтобы увидеть, что Фома Фомич берет инициативу в свои руки средствами, в которых наблюдателю нельзя не признать неприкрытое хамство. Вообразить подобные высказывания в подобной ситуации («Кончили ль вы?», «И рады?») из уст Егора Ильича невозможно<sup>15</sup>. Ростанев не распознает хамство как хамство — или вынужден делать вид, что не распознает, — и безропотно позволяет подвергать себя допросу. Фома вообще постоянно задает вопросы риторического свойства, и если не отвечает на них сам, то ставит перед неприятной обязанностью отвечать на них партнера по коммуникации.

Так, например, Фома Фомич распаляется по поводу безответственности текста песни про камаринского мужика — и вот вопрос, на который, несмотря на видимую его риторичность, Фома требует ответа у Егора Ильича:

«Но какой же порядочный человек может, не сгорев от стыда, признаться, что знает эту песню, что слышал хоть когда-нибудь эту песню? какой, какой?» — «Ну, да вот ты же знаешь, Фома, коли спрашиваешь», — отвечал в простоте души сконфуженный дядя (64).

Вот это «в простоте души» примечательно: конфуз толкает Егора Ильича сказать то, что первым приходит ему на ум, без поправки на фактор адресата — собственно, охарактеризовать происходящее как бы с внеположной позиции. Этот ненарочный ход равнозначен переходу на метауровень, к разговору о форме, целях или содержании коммуникации: адресовавшись к целям высказы-

<sup>15</sup> Т.е. такая коммуникация асимметрична, причем не совсем в том смысле, в каком асимметрична любая коммуникация между партнерами, имеющими разный статус: в данном случае разница статуса является не предпосылкой, а результатом — она не задана априорно, а создается в ходе взаимодействия, нацеленного на то, чтобы одному из участников указать его место.

вания, Егор Ильич не просто распознает, но и в явном виде указывает на риторический характер вопроса и на отсутствие необходимости разумному человеку в нормальных условиях на него отвечать. Фома в ответ «захлебывается от злости», а Егора Ильича прогоняют за «ненаходчивость» ответа (64)<sup>16</sup>.

В рамках принятых в Степанчикове условий общения комментарию по поводу характера высказываний жертве непозволительно, только агрессор имеет на них право. Это остается правилом и за гранью театрализованного абсурда — в знаменитой сцене, где Фома требует называть его «ваше превосходительство» (88):

Нет, не «здравствуйте, ваше превосходительство», это уже обидный тон; это похоже на шутку, на фарс. Я не позволю с собой таких шуток. Опомнитесь, немедленно опомнитесь, полковник! перемените ваш тон!<sup>17</sup>

И далее откровенно издевательское (притом что полковник называет Фому на «ты», а Фома говорит ему «вы»): «Надеюсь также, что вы не оскорбитесь, если я предложу вам слегка поклониться и вместе с тем склонить вперед корпус».

Поведенческие стратегии Фомы и Егора Ильича противоположны. «Я не верил себе; я понять не мог такой дерзости, такого нахального самовластия, с одной стороны, и такого добровольного рабства, такого легковверного добродушия — с другой» (71), — говорит рассказчик. Заметим, что реализуемость таких стратегий в одном пространстве, их востребованность возможны только благодаря существованию друг друга: нахальное самовластие нуждается в добровольном рабстве. Когда один человек предает забвению приличия, другой вопреки всему следует этикетным нормам нормального хода событий, и все получают возможность делать вид, будто ничего особенного не происходит.

Нарушение норм этикета, вообще говоря, встречается в нормальной коммуникации и служит основанием для вывода слуша-

<sup>16</sup> Ср. ненаходчивый ответ на вопрос об искре, зажженной Фомой в душе Егора Ильича («дядя мнется, жметса, не знает, что предпринять», а затем просит Фому не задавать таких вопросов — «право, ты уж лучше не спрашивай, а то я соврну что-нибудь...» — 17), воспринятый Фомой как оскорбление. Вообще, у агрессора есть право произвольно истолковывать слова жертвы как выражающие те или иные оттенки негативного и неконструктивного отношения.

<sup>17</sup> Ср. попытку Егора Ильича хоть как-то привести происходящее к «нормальному виду», интерпретировать слова Фомы в обычных категориях: «Да ты не шутишь, Фома?»

ющим информации о чрезвычайных обстоятельствах, об отношении говорящего к собеседнику или к содержанию сообщения, об эмоциональном или ином состоянии говорящего. Нарушение этикетных норм Фомой тоже информативно нагружено — это намеренный красноречивый жест, призванный сообщить Ростаневу и окружающим отношении Фомы к тем или иным обстоятельствам. Так Фома указывает собеседнику на неполноценность его статуса. Например, Фома и не думает приветствовать представляемого ему Егором Ильичом конкурента на почве учености:

— Фома! — крикнул дядя, — рекомендую: племянник мой, Сергей Александрыч! Сейчас приехал.

Фома Фомич обмерил его с ног до головы.

— Удивляюсь я, что вы всегда как-то систематически любите перебивать меня, полковник, — проговорил он после значительного молчания, не обратив на меня ни малейшего внимания (66).

Нарушив нормы вежливости, согласно которым следовало бы ответить приветствием на представление Егором Ильичом своего племянника<sup>18</sup>, он сам обращается к собеседнику с упреком из области этикета. Тема речевого этикета тем более важна в романе, что власть агрессора проявляется как раз в праве произвольно истолковывать нормы этикета. Когда Егор Ильич осмелевается, поддерживая общий разговор, высказать, вторя Фоме, суждение о литературном слоге, тот отвечает буквально следующим образом: «...оставьте литературу в покое. Она от этого не проиграет, уверяю вас!» (70). Подобным образом Ростанев постоянно оказывается

<sup>18</sup> В прагматике это трактовалось бы как нарушение постулата релевантности по Грайсу, согласно которому на каждом шаге взаимодействия вклад участников должен иметь отношение к предмету коммуникации (Грайс 1985); в данном случае Фома отказывается поддерживать предложенную тему разговора. Его ответная реплика как бы игнорирует линию, заданную предшествующей репликой собеседника. В традиции анализа повседневного разговора такая ситуация трактовалась бы как «непредпочтительное» продолжение речевого взаимодействия, которое обычно строится в формате примыкающих друг к другу парных реплик (вроде «вопрос — ответ», «приветствие — приветствие» и т.п., см. об этом, например: Schegloff, Sacks 1973, 295—299). «Предпочтительным», обычным продолжением со стороны Фомы был бы ответ приветствием на представление гостя Ростаневым — подобно тому как нормально отвечать на вопрос и приветствовать в ответ на приветствие; соответственно, если на ваш вопрос не отвечают или если ваше приветствие повисает в воздухе, нормальный ход событий нарушается, это требует объяснений. О понятии предпочтительности см. в работе: Levinson 1983, 336.

кругом не прав: систематически публично дезавуируя его высказывания, Фома и представители его лагеря дают наблюдателю основания полагать, что Егора Ильича здесь «ни во что не ставят».

Бунт против сложившегося стиля общения и особенно нарочитых его проявлений в принципе возможен. Он может исходить от жертвы или же не непосредственно от нее, но в любом случае приводит в действие стандартный сценарий, не влекущий за собой изменения отношений между основными персонажами. Когда племянник Ростанева решается на откровенную — впрочем, довольно невинную в сравнении с иными высказываниями Фомы — дерзость, Фома Фомич, поначалу не веря ушам своим, реагирует так: «Это еще что? — вскрикнул он наконец, накидываясь на меня в иступлении и впиваясь в меня своими маленькими, налитыми кровью глазами. — Да ты кто такой?» Пытаясь избежать скандала и хоть как-то придать «нормальный вид» происходящему, Егор Ильич реагирует на риторический вопрос, как на вопрос буквальный<sup>19</sup>: «Фома Фомич... — заговорил было совершенно потерявшийся дядя, — это Сережа, мой племянник...» (76). Потерявшийся дядя даже и обращается в этом случае к Фоме по имени и отчеству. Фома же произносит истерически-бессвязную ругательную речь и покидает поле боя, после того как Сергей во всеуслышание высказывает предположение, что Фома пьян — собственно, отнюдь не самое обидное, скорее даже оправдывающее объяснение забвения этикета с чьей-то стороны.

В другом случае, в отсутствие Фомы Фомича, против творящегося вокруг представления восстает Сашенька — она вступает за истину, вскрывая поддержанную окружающими ложь Фомы (он объявил себя именинником, позавидовав именинам восьмилетнего Илюши). Сашенька кричит («никого не боюсь») о том, какой Фома Фомич на самом деле и как она его ненавидит:

Я думаю, если б бомба упала среди комнаты, то это не так бы изумило и испугало всех, как это открытое восстание — и кого же? — девочки, которой даже и говорить не позволялось громко в бабушкином присутствии (57).

Дело, по обыкновению, кончается обмороком генеральши и всеобщей суматохой.

Бунт слабой стороны, хотя бы и самый решительный по своей форме в первый момент («Прочь всю эту систему! Теперь все по-

<sup>19</sup> Распространенное прибежище того, кто не решается открыто поднять вопрос об абсурдности происходящего.

новому!» — 81), — дело преходящее и бесперспективное: он не меняет ситуацию, не влияет на правила игры. Точно так же не приводит к изменению обстоятельств и шантаж агрессора, прикидывающегося слабым и демонстративно уходящего со сцены, — это средство для динамического поддержания существующего порядка. Все должно вернуться к прежнему состоянию. Егор Ильич движим праведным гневом и поначалу даже приказывает Гавриле сжечь тетрадку с французскими словами, но потом меняет свое решение. И через несколько минут (82) уже опять чувствует себя виноватым и готов вымалывать прощение у Фомы на коленях. Кульминация действия романа, казалось, давала выход силам праведного гнева, не подконтрольным агрессору: Фома, будучи спущен с лестницы и оставлен Гаврилой в канаве после дорожного происшествия, бредет в грозу по дороге пешком. Но он бредет обратно в Степанчиково, где его ждут и где он воцаряется вновь — и торжествует, оказываясь гарантом всеобщего счастья.

Парадокс семейных отношений, затронутых коммуникативной патологией, заключается как раз в том, что и счастье, и несчастье приходят из одного источника: агрессия оказывается проявлением заботы, унижение — необходимым компонентом любви. И в замкнутой системе, каковой является семья, жертве, связанной чувствами привязанности и вины, некуда деться.

## К экологии внутрисемейной коммуникации

Описанная выше систематически воспроизводящаяся, в частности в семье, схема коммуникативного взаимодействия была впервые проанализирована Грегори Бейтсоном. Термин «схизмогенез» (как следует из внутренней формы термина, «процесс порождения раскола») был предложен Бейтсоном<sup>20</sup> для обозначения таких последовательностей взаимодействий, когда цепочка коммуникативных связанных друг с другом действий партнеров, состоящая из

<sup>20</sup> Впервые в статье 1935 года «Контакт культур и схизмогенез» (Bateson 1972, 61—87). Понятие схизмогенеза было использовано в анализе паттернов социального взаимодействия в культуре ятмулов в классической работе Бейтсона «Навен» (см.: Bateson 1936, 175—197) и послесловии 1958 года к переизданию этой книги.

повторяющихся паттернов, приводит к интенсификации противоречий между участниками взаимодействия<sup>21</sup>. Чем интенсивнее действует один участник, тем более выражен ответ на его действия со стороны другого участника, что, в свою очередь, влечет к интенсификации деятельности первого. Если при этом взаимно стимулирующие действия подобны, как в случае соревнования или соперничества, то имеет место ситуация, обозначаемая как «симметричный схизмогенез». Если же действия двух участников принципиально различны, но связаны и согласованы друг с другом так, что не имеют смысла друг без друга (т.е. взаимодополнительны — как сочетания, например, доминирования и подчинения, поддержки и зависимости, эксгибиционизма и разглядывания), то имеет место ситуация «комплементарного схизмогенеза» (Bateson 1972, 109; ср. также Watzlawick, Beavin, Jackson 1967, 67—70).

Последовательность взаимодействий между двумя участниками — поток событий, который может быть истолкован неоднозначно: каждым участником — по-своему. Считая свои действия реакцией на поступки партнера, один участник (например, муж) видит картину, значительно отличающуюся от картины, видимой другому участнику (например, жене)<sup>22</sup>. Скажем, жена осыпает мужа упреками за его пассивность и постоянный уход от ответов и ответственности, тогда как муж постоянно действительно избегает жены и уходит от столкновений, мотивируя это повторяющимися нападениями. Муж видит фрагменты цепочки взаимодействий, где началами выступают придирки жены, затем следует его, мужа, реакция (уход, избегание), после чего снова следуют новые придирки. Жена видит иную картину, а именно: пассивность мужа, которая провоцирует критику с ее стороны, и дальнейшую реакцию мужа на ее действия (стремление избежать столкновений).

<sup>21</sup> Ср. определение: «процесс дифференциации норм индивидуального поведения, проистекающий из кумулятивного взаимодействия между индивидами» (Bateson 1936, 175).

<sup>22</sup> Проблематика «пунктуации последовательности событий» (условно говоря, где ставить запяты, что выделять в качестве событий) рассмотрена в книге Watzlawick, Beavin, Jackson (1967, 54—59). Возвращаясь в более поздней работе к обсуждению разной пунктуации цепочки взаимодействий на примере ссор супругов, Пауль Вацлавик (Watzlawick 1988b, 112—113) подчеркивает, что фактически речь идет о двух разных реальностях, о двух подтверждающих друг друга системах самосбывающихся пророчеств (т.е. предсказаний, которые сбываются уже в силу того, что они существуют, поскольку тем самым они модифицируют положение вещей и порождают ожидаемую реальность).

И в том и в другом случае собственные поступки видятся вынужденными, спровоцированными другой стороной; для собственного поступка находится конкретный повод в поступках партнера. Из-за разного видения этой постоянно повторяющейся ситуации участникам трудно прийти к соглашению — тем более, когда возможности обсуждать саму форму взаимодействия ограничены, ибо за деревьями бытовых поводов трудно усмотреть лес, и в частности тот факт, что при обсуждении повторяющейся формы взаимодействий конкретные поводы можно было бы вынести за скобки, потому что они не играют никакой роли. Ибо форма отношений — понятие другого уровня абстракции, нежели сами отношения и их конкретное бытовое наполнение, обычно являющееся предметом коммуникации.

Тут уместно сделать комментарий, касающийся истоков обсуждаемых идей и применяемой терминологии. Одной из предпосылок для представлений об уровнях коммуникации и их взаимодействии была теория связи, из концептуального аппарата которой широкой публике известна схема коммуникации, предложенная Клодом Шенноном (Shannon 1948). Собственно, представление о канале связи, по которому проходит сигнал, несущий сообщение, состоящее из элементов и построенного в соответствии с правилами некоторого кода, оказалось эвристически ценным далеко за рамками специальной дисциплины — математической теории связи<sup>23</sup>. Не менее ценным было и осознание ограничений, налагаемых расширением такого представления применительно к анализу реального человеческого общения<sup>24</sup>.

<sup>23</sup> Ср. использование положений теории связи Р.О. Якобсоном в его классическом рассуждении о классификации функций языкового общения в зависимости от того, какой компонент схемы коммуникации является предметом общения (Якобсон 1975).

<sup>24</sup> Реально адресант не передает своих мыслей посредством слов, а лишь создает условия для того, чтобы, опираясь на его слова, адресат мог сам подумать нечто угодное адресату. Между тем восходящая к Шеннону схема коммуникации изображает лишь передачу слов по каналу (в идеальном случае — одних и тех же слов с одинаковым значением на обоих концах канала). Поэтому область применения этой схемы вне специальной дисциплины, эту схему породившей, оказывается значительно уже, чем было принято думать в 60-е годы XX века. Современные модели коммуникативного взаимодействия делают акцент не на передаче информации с использованием готового кода, а на выведении намерений говорящего или на роли контекста в конструировании смысла, выводимого партнерами из поведения друг друга. См. о различении модели «кодированной передачи», модели «выведения намерений» и модели «коммуникативного взаимодействия» в учебнике Деборы Шифрин (Schiffirin 1994, 391—405).

В частности, переосмысление положений теории связи позволило увидеть сложность процесса реального человеческого взаимодействия через метафору нескольких каналов связи, работающих одновременно, но устроенных по-разному. Вообще говоря, по каналу передается прежде всего информация о мире («контексте», в терминологии Jakobsona); информация же о коде и о характере сообщения является метаинформацией, принадлежит иному логическому уровню и передается отдельно, представляет собой особый сигнал. Некоторые разновидности этого особого сигнала — а именно те, которые выражают отношение между коммуникантами, — используют иначе устроенный канал. Попробуем разъяснить это положение.

Общение между людьми не ограничивается словесным речевым взаимодействием. Попадая в поле чье-то внимания, наши действия автоматически оказываются частью хотя бы и ненамеренной коммуникации. Даже просто находясь в одном помещении и не разговаривая друг с другом, люди все равно так или иначе воспринимают и интерпретируют поведение друг друга, хотя могут и не отдавать себе в этом отчета. Получается, что сама возможность контакта уже представляет собой разновидность сообщения, которое никто намеренно не отправлял, но которое возникает само собой благодаря контексту. И даже молчаливо присутствующий незнакомый нам человек в каком-нибудь зале заседания, не говоря уже о человеке, хорошо нам знакомом, говорящем и действующем вместе с нами, интерпретируется как дружелюбно или враждебно настроенный, раздраженный или безразличный, готовый к общению или не желающий общаться. Целый ряд факторов в его поведении, как сознательно воспринимаемых нами (например, смысл действий и слов), так и неосознаваемых (например, смысл тона его голоса и позы), вкупе с аналогичными проявлениями с нашей стороны конструируют отношения, на фоне которых — или параллельно которым — может протекать иная, содержательная коммуникация. А может и не протекать, потому что может остаться исключительно возможностью, а общение ограничится обменом сообщениями о контакте и отношении.

Аспект отношений между коммуникантами в значительной мере зависит от контекста общения, куда входит и предыстория этих отношений, и соотношение статусов участников общения, а также место и обстановка ситуации общения, предписанные ситуацией роли и т.д. Например, экзамен как институциональный контекст взаимодействия преподавателя и студента определяет асим-

метричность ролей участников общения и предполагает, среди прочего, длинные вопросно-ответные цепочки (равно как, например, и опрос свидетеля в суде), где одному участнику положено задавать вопросы, а другому — отвечать на них. Эта форма взаимодействия может никак не касаться личных отношений участников общения (ибо таких отношений может и не быть вовсе) — в отличие от случаев, когда такая форма взаимодействия не продиктована контекстом (так, например, Фома распекает Ростанева цепочкой риторических вопросов).

Общение — всегда лишь часть деятельности вообще. Контекст деятельности, частью которой оказывается общение, позволяет осмыслять действия партнера. Ведь воспринимаемые действия, будь то действия коммуникативные (в том числе высказывания) или практические, обладают значением не только и не столько потому, что им присуще некое абстрагированное от ситуации, самостоятельное значение. Применительно ко многим словам языка утверждение о наличии постоянного абстрактного значения справедливо, но, скажем, поднятие руки само по себе не обладает значением вне такого контекста, который позволил бы осмыслить это действие либо как жест в рамках определенного кода (например, как приветствие), либо как практическое действие (например, разминка). Ближайшее и буквальное значение поднятия руки состоит в том, чтобы поднять руку, мыть посуду — в том, чтобы вымыть посуду, а высказывания «Мне холодно» — в сообщении слушающему информации о том, что говорящему холодно. Поскольку любой поведенческий акт (речевой акт в том числе) встроен в контекст деятельности — и в контекст отношений между участниками взаимодействия — вне этих двух (аналитически вычленяемых) контекстов его реальный, не сводящийся к «буквальному» смысл не представим.

Соответственно, сознательная или неосознаваемая интерпретация любого поведенческого акта потенциально включает в себя его оценку в перспективе его «небуквального» значения — с точки зрения преследуемых деятелем целей (например, мытье посуды как «упрек присутствующему в том, что он не вымыл посуду» или высказывание «Мне холодно» как «просьба закрыть окно»<sup>25</sup>), с точки зрения побудительных причин («он сердит, потому что кто-то ему нахамил на работе»), с точки зрения ожидаемых последствий и т.п. Кроме того, интерпретация всякого акта предпо-

<sup>25</sup> О так называемых «косвенных речевых актах» см.: Серль (1986).

лагает решение о принадлежности данного акта к одному из модусов коммуникации (всерьез ли это сделано, или это игра, или шутка)<sup>26</sup> и к одному из типов действий (скажем, угроза, предупреждение, сообщение информации). Информация о модусе коммуникации и типе действия вместе с информацией об отношениях участников взаимодействия составляет *метакоммуникативный* компонент общения.

Таким образом, наряду с собственно содержательной (буквальной) информацией, содержащейся в поведенческом акте, рассмотренном как сообщение, и помимо имплицитных компонентов смысла («что он имеет в виду»), имеется еще один немаловажный компонент общения, метакоммуникативный. Анализ этого компонента осложняется тем обстоятельством, что, в отличие от передачи информации средствами словесного языка, выражение отношений и модуса коммуникации эволюционно значительно более древняя способность. У человека она опирается на преимущественно невербальные («аналоговые») средства (такие, как поза, выражение лица, интонация, проксемика и др.)<sup>27</sup>, принципы действия которых общие для коммуникации человека и коммуникативных систем животных. Эти средства значительно хуже, в сравнении с дискретными средствами, поддаются анализу, поскольку не составляют хорошо структурированной системы<sup>28</sup>. Они не дают возможности референции и метаязыковых сообщений, зато используются для сообщений метакоммуникативных<sup>29</sup>.

<sup>26</sup> Впервые о различении модусов с точки зрения теории коммуникации применительно к этологическому материалу — в статье Г. Бейтсона «*A Theory of Play and Fantasy*» (1955). Ср. подробно разработанную применительно к анализу человеческого поведения Ирвином Гофманом концепцию «анализа фреймов» (Goffman 1986).

<sup>27</sup> Анализ проблематики аналоговой коммуникации и ряда вопросов, затронутых ниже, см. в работе: Watzlawick, Beavin, Jackson (1967, 60—67, 99—107).

<sup>28</sup> В терминах семиотики можно сказать, что система аналоговых средств коммуникации состоит из индексальных и иконических знаков, тогда как словесный язык опирается на знаки символические.

<sup>29</sup> Сообщение метаязыковое предполагает отсылку к единице используемого кода («Не говорите “Тюк!”»), что в орфографии отмечается кавычками. Тогда как сообщение метакоммуникативное отсылает к самому акту общения, указывает на действие, которым данный акт общения является (сообщением информации, угрозой, обещанием, шуткой, признанием в любви...). Метаязыковые сообщения возможны только в системах дискретно организованной коммуникации, тогда как метакоммуникативный аспект имеется в любом общении, в том числе и таком, которое не использует высокоструктурированного кода, подобного естественному языку.

Хотя в принципе и животные и человек способны намеренно фальсифицировать аналоговые метакоммуникативные сигналы (см., например: Sebeok 1981), соврать аналоговыми средствами сложнее: это требует специальных усилий, актерского мастерства и владения собой. Как животные, мы запрограммированы на то, что сигналы отношений искренни и произвольны; однако как люди, причастные той или иной культуре, мы владеем паттернами контроля над произвольными проявлениями и, более того, обучены определенному (для каждой культуры — своему) набору общепринятых форм поведения, при которых сигналы содержания и сигналы отношения некогерентны и могут даже противоречить друг другу<sup>30</sup>. Классический пример кросскультурной разницы стереотипов когерентности уровней сообщения — а метакоммуникативный и «буквальный» компоненты возможно рассмотреть как разные уровни в структуре одного процесса — остроумно и тонко проанализирован в рассказе Акутагавы Рюноске «*Носовой платок*». Японский профессор занят чтением «*Драматургии*» Стриндберга, но его занятия прерывает визит дамы, матери одного из его студентов, который, оказывается, недавно умер.

Во время разговора профессор вдруг обратил внимание на странное обстоятельство: ни на облике, ни на поведении этой дамы никак не отразилась смерть родного сына. В глазах у нее не было слез. И голос звучал обыденно. Мало того, в углах губ даже мелькала улыбка. Поэтому, если отвлечься от того, что она говорила, и только смотреть на нее, можно было подумать, что разговор идет о повседневных мелочах (Акутагава Рюноске 1974, 64).

Это кажется профессору странным. Но когда его взгляд падает на руки дамы, он замечает, что руки эти сильно дрожат и комкают носовой платок: «дама лицом улыбалась, на самом же деле всем существом своим рыдала» (там же, 68). Такое мужественное поведение представляется профессору в высшей степени достойным, и он даже собирается писать об этом статью для журнала. Позже, раскрыв недочитанную книгу на странице, заложенной визитной карточкой посетительницы, профессор читает у Стриндбер-

<sup>30</sup> Этот тезис и обосновывает возможность антропологического анализа культурно-специфичных паттернов коммуникации; другое дело, что эти паттерны могут существенно варьировать (например, от семьи к семье) в рамках одной культуры. Говоря о «языке русских тараканов», мы имеем в виду закрепленные в русском языке и русской речи средства, во-первых, для выражения этих паттернов и их компонентов и, во-вторых, для их обозначения. Разумеется, сами эти паттерны не специфически русские.

га о том, что сценический прием двойной игры, когда актриса улыбается лицом, но руками рвет платок, считается дурным вкусом.

Отличие от действий, носящих регламентированный церемониальный характер, где когерентность уровней сообщения может являться принятым условием правильной реализации церемонии (так, извинение хамским тоном или с одновременным показом кулака не будет работать как извинение), в повседневном общении ситуация сложнее. В нашей культуре примеры противоречивых сообщений — скажем, когда по форме сообщение агрессивно и унизительно, а по содержанию должно являть собой проявление заботы, — в избытке встречаются во внутрисемейном общении, в частности в воспитательных ситуациях<sup>31</sup>. Аналоговая форма сообщения, противоречащая вербальному содержанию, воспринимается как правда, как проявление истинных чувств — и когда воспитуемый читает эту правду в поведении сильного партнера, он оказывается в сложной ситуации: и не верить его словам не может (в смысле, не имеет права), и поверить никак нельзя.

Некогерентность уровней сообщения, наряду с еще несколькими условиями, является, среди прочего, составной частью ситуации, обозначенной Г. Бейтсоном как «двойное связывание»<sup>32</sup>. Одно из определений Бейтсона выглядит так:

<sup>31</sup> Вербальное и само по себе может быть парадоксальным по смыслу, когда содержит предписание, касающееся спонтанных актов (скажем, «прекрати реветь» — притом что, когда режут, делают это произвольно и, соответственно, не могут начать или прекратить по желанию). Подобная парадоксальность присуща не только воспитательным клишированным формулам — ср., например: «не стесняйтесь, будьте как дома». Интересно, что смысл целого выражения не выглядит противоречивым для носителя русского языка.

<sup>32</sup> Перевод этого термина на русский язык составляет определенную проблему — ей посвящены несколько страниц предисловия переводчиков к русскому сокращенному переводу книги Бейтсона (Бейтсон 2000, 12—16). Переводчики Д. Федотов и М. Папуш даже приводят списки синонимов для слов «double» и «bind» и дают краткое толкование соответствующему понятию с опорой на бейтсоновскую традицию. Они останавливаются на верном по сути варианте «двойной сигнал», однако, как они сами справедливо замечают, многие коннотации в результате теряются. Исходя из ряда соображений — и в частности из того чисто языкового обстоятельства, что термин «double bind» напрямую связан с употреблением слова «bind» в контекстах вроде «the bind between telling a lie and hurting with the truth», — мы предпочитаем передавать бейтсоновский термин русским сочетанием «двойное связывание». Ср. возможные по-русски сочетания «он связан обязательствами», «они связаны (какими-либо) отношениями», а также «связан по рукам и ногам».

- 1) Индивид включен в очень тесные отношения с другим человеком, поэтому он чувствует, что для него жизненно важно точно определять, какого рода сообщения ему передаются, чтобы реагировать правильно.
- 2) При этом индивид попадает в ситуацию, когда этот значимый для него человек передает ему одновременно два разноуровневых сообщения, одно из которых отрицает другое.
- 3) И в то же время индивид не имеет возможности высказываться по поводу получаемых им сообщений, чтобы уточнить, на какое из них реагировать, т.е. он не может делать метакоммуникативные утверждения (Бейтсон 2000, 234; Bateson 1972, 208)<sup>33</sup>.

Как видно даже из приведенных определений, ситуация двойного связывания представляет собой ключевой компонент внутрисемейной коммуникативной патологии.

Ниже мы обсудим, в частности, некоторые черты коммуникативного поведения агрессора, включающие в себя элементы насилия. Хотя физическое насилие в семье и не является (может быть, и не считается<sup>34</sup>) чем-то исключительным или редким, едва ли можно говорить о том, что рукоприкладство широко распространено как не замечаемая часть повседневности. Поэтому речь будет идти не о физическом насилии. Вынесенная в эпиграф этой статьи строчка в большей степени применима к повседневным проявлениям

<sup>33</sup> В другом месте в определении «двойного связывания» Бейтсон говорит о наличии двух или более участников коммуникации, один из которых является «жертвой»; регулярно повторяющемся характере опыта, приводящем к его ожиданию; наличии в ситуации некоторого первичного буквально высказанного предписания, предполагающего последствия (например, наказание) в случае его невыполнения; наличии еще одного предписания, принадлежащего к уровню отношений и конфликтующего с первичным, и также (имплицитно) подкрепленного угрозой; о запрете для жертвы покидать поле боя и, наконец, о «защикленности» жертвы на травматическом опыте таких ситуаций до такой степени, что наличие всех компонентов уже не является необходимым и один фрагмент может вызвать привычную эмоциональную реакцию (Bateson 1972, 206—207; Бейтсон 2000, 232—233).

<sup>34</sup> Не имея возможности сослаться на надежные данные по этой теме (о том, в какой мере «не является» и «не считается»), рискнем предположить, что многие из тех, кто отвергает рукоприкладство на словах и сам был когда-то отшлепан, и сам шлепал детей, и со своей половиной, случалось, тягался (или тягалась; гендерный уклон в этом предложении — исключительно результат русской грамматики) с применением физической силы — отталивая, бросая предметы, пытаясь не пустить в дверь или что-нибудь в этом роде; так что если пока не было в истории вашей семейной жизни выкручивания рук и синяков, то это вовсе не значит, что элемент физического насилия был из нее совсем исключен. И вообще: «бьет — значит, любит».

ям «эмоционального насилия», когда один участник взаимодействия, не прибегая к физическому насилию, навязывает другому (окружающим) свои негативные эмоции и оценки, пробуждая в другом дискомфорт и интенсивную вспышку эмоционального напряжения. При этом навязываемая жертве интерпретация некоторой ситуации предполагает, что поведение агрессора является реакцией на поведение жертвы, имеет целью модификацию ситуации и поведения жертвы — и является наиболее действенным к тому способом, т.е. оказывается морально и прагматически оправдано. Это становится возможным благодаря доминирующей позиции агрессора в пределах ситуации «двойного связывания»<sup>35</sup>.

В социально-психологических исследованиях, посвященных внутрисемейному насилию, встречаются такие термины, как «психологическая агрессия», «вербальная» и «символическая агрессия». Попытки измерить количество и качество внутрисемейных конфликтов потребовали определения категорий в поле форм конфликтного поведения<sup>36</sup>. В анкетах для измерения частотности форм конфликтного поведения среди прочего различаются такие рубрики: наорать и/или оскорбить, надуться и/или отказаться обсуждать, «хлопнуть дверью», бросить предмет (но не в партнера) или что-нибудь сломать, угрожать ударить или бросить чем-либо в партнера, бросить предмет в партнера, толкнуть или схватить партнера, ударить партнера, ударить партнера чем-либо (Straus 1979, 87). Такие же или более подробные классификации, призванные разграничить формы насилия во внутрисемейных отношениях, встречаются во многих исследованиях, посвященных взаимоотношению между физическим насилием и иными формами насилия в семье (см.: Stets 1990, Straus, Sweet 1992).

По крайней мере, по отношению к ребенку повторяющееся психологическое насилие может быть опаснее для отношений и субъективно более значимо по сравнению с окказиональными умеренными дозами ритуализованного и принятого в данной культуре физического насилия: ну, выпороли за шалость, треснули по уху за хамство — до тех пор, пока ребенок ясно понимает

<sup>35</sup> См. об эмоциональном насилии и других видах внутрисемейного насилия: Denzin (1984, 521—523).

<sup>36</sup> См., например: Straus (1979), где предложены три шкалы, отражающие три направления конфликтного поведения: спор и рациональная дискуссия, использование вербальных и невербальных действий, символически уязвляющих противную сторону, и физическое насилие.

повод наказания, воспринимает действия родителя именно как наказание за конкретный поступок и склонен согласиться с правотой взрослого (т.е. со справедливостью наказания), физическое насилие не является психологической травмой и, как возможно предположить, не характеризует само по себе коммуникативного стиля семьи.

Систематическое психологическое насилие в семейных отношениях, употребляемое агрессором, накладывает на коммуникативный стиль семьи отпечаток — особенно сильный в тех случаях, когда оно обладает следующими тремя характеристиками:

во-первых, это инструментальный, намеренный характер поведения — по контрасту с такими действиями, которые скорее являются экспрессивными и произвольными и выражают крайнюю степень эмоционального возбуждения (наорать);

во-вторых, злонамеренный, направленный на причинение психологического ущерба характер действий (скажем, унижить при посторонних — в отличие от «хлопнуть дверью»);

в-третьих, открытый, эксплицитный характер действия (так, например, надуться и перестать разговаривать — действие, в котором агрессивный компонент имплицитен, в отличие от угрозы применить физическую силу) (Hamby, Sugarman 1999, 961).

Как уже отмечалось выше, общей чертой патологических форм коммуникации, включенных в акты психологического насилия, является их асимметричность: роли жертвы и агрессора установлены раз и навсегда, повторяющиеся сценарии взаимодействия воспроизводятся и идут по накатанным рельсам и не предоставляют возможности смены ролей и — в том, что касается организации разговора, — не предполагают очередности в праве задавать вопросы, предлагать тему дальнейшего разговора, начинать и завершать разговор и т.п.

Владение языком и невербальными тактиками конфликтного взаимодействия вообще является частью коммуникативной компетенции<sup>37</sup>. Есть основания полагать, что эта часть коммуникативной компетенции осваивается в домашнем кругу — и как умение воспроизводить тактики, свойственные агрессору, и как набор привычных реакций на поведение агрессора. Интерпретируя речевые клише с точки зрения их роли в развертываемом взаимо-

<sup>37</sup> О понятии коммуникативной компетенции см.: Gumperz (1997).

действию партнеров, можно предложить несколько рубрик для предварительной классификации кодируемых этими клише наиболее распространенных коммуникативных тактик агрессора при асимметричном взаимодействии<sup>38</sup>. Мы приведем отдельные примеры из трех таких рубрик, наиболее показательных в смысле выражения отношений между партнерами.

Большой разряд тактик относится к проявлению власти агрессора в области организации общения (мы назовем их «метакоммуникативные тактики»):

1.1. Указание на форму высказывания и на характеристики взаимодействия:

*Как ты со мной разговариваешь? Что ты себе позволяешь? Разговорчивая стала! Не смей орать на меня! Ори громче!  
Ты кончил? Ты все сказал?*

1.2. Запрет на метакоммуникативные сообщения со стороны партнера:

*Не смей мне указывать, что мне делать (скажем, в ответ на «не кричи на меня»)  
Ах, он еще и разговаривает»<sup>39</sup>!*

1.3. Предписание партнеру, содержащее запрет на активное участие в коммуникации:

<sup>38</sup> Вопрос о том, почему инвентаризация тактик жертвы более трудна, заслуживает отдельного рассмотрения. Прежде всего потому, что они, как представляется, менее клишированы и не специфичны для асимметрично-схизмогенетических взаимодействий, а потому более вариативны в зависимости от индивидуальных особенностей говорящего. Заметим тут же, что ниже указаны только те тактики, которые отражены в хорошо узнаваемых клишированных формулах; между тем они составляют лишь часть арсенала средств коммуникативного насилия — многие из этих средств относятся к области паралингвистики и невербальной коммуникации, другие представляют собой способы ведения диалога (например, перебивание собеседника); еще одна часть относится к используемой риторике и аргументации и затрагивает содержательные аспекты взаимодействия. Составлять список используемых в семейном общении ругательств непродуктивно; продуктивно указать, что обзывание, перебивание и затыкание рта стоят, в некотором смысле, в одном ряду среди используемых агрессором приемов ведения разговора. Приводимые ниже названия рубрик условны; ряд примеров попадает более чем в одну рубрику.

<sup>39</sup> Примечательно значение глагола, проявляющееся в таком контексте: «разговаривать» здесь значит «говорить неугодные кому-то вещи, в частности, касающиеся формы взаимодействия».

*Заткнись! Закрой рот!  
Убирайся отсюда, чтобы глаза мои тебя больше не видели!  
Закрой дверь с той стороны.*

1.4. Запрет на самоустранение партнера от коммуникации:

*Что ты молчишь? Язык проглотил? Отвечай, тебя спрашивают!<sup>40</sup>  
Не смей закрывать дверь перед моим носом!<sup>41</sup>*

1.5. Самоустранение от вербальной коммуникации:

*Не извиню<sup>42</sup>.  
Я с тобой не разговариваю.  
Отстань! Не приставай ко мне! (предполагает, в отличие от Убирайся!, возможность коммуникации на другие темы, которая не будет расцениваться агрессором как приставание).*

Всякое взаимодействие по ходу своего развертывания воспроизводит (или переопределяет) статусы партнеров. Соответственно мы можем выделить две группы тактик агрессора, одна из которых направлена на подрыв статуса партнера, а другая — на конструирование собственного статуса. Примеры из первой группы:

2.1. Эксплицитное дезавуирование высказываний партнера:

*Да мне плевать, что ты думал (что тебе кажется).  
Перестань нести чепуху!*

2.2. Эксплицитное дезавуирование партнера, его статуса равноправного участника коммуникации:

*Да кто ты такой? какое ты имеешь право...?*

2.3. Указание на повторяющийся некооперативный характер поведения (в том числе коммуникативного поведения) партнера — и через это имплицитное дезавуирование его статуса:

<sup>40</sup> Ср. в «Селе Степанчикове»:

— *Отвечайте же: горит в вас искра или нет?*

*Дядя мнется, жметесь и не знаете, что предпринять.*

— *Позвольте вам заметить, что я жду, — замечает Фома обидчивым голосом.*

— *Mais répondez donc, Егорушка! — подхватывает генеральша, пожимая плечами (17).*

<sup>41</sup> Жертва должна находиться между стеной и шпагой, не должна иметь возможности убежать, иначе действия агрессора лишаются смысла. Поэтому попытка скрыться может приводить к эскалации агрессии.

<sup>42</sup> Об извинениях см., в частности, нашу заметку (Утехин 2003).

*Сколько тебе раз повторять? Тебе все равно как об стенку горох.  
А ты мне что говорил? А я тебе что говорила?  
Я это сто раз уже слышала<sup>43</sup>.*

2.4. Ссылка на якобы очевидную общую закономерность; обобщение, согласно которому партнер объявляется не способным к сотрудничеству:

*Ты вообще всегда думаешь только о себе, у тебя всегда другие виноваты.  
А разве когда-нибудь было иначе?*

2.5. Эксплицитные обзывания разной степени развернутости вроде:

*Тебе к врачу надо!  
Весь в отца — такой же идиот!<sup>44</sup>.*

Ко второй группе относятся, например, следующие случаи:

3.1. Указание на собственные заслуги<sup>45</sup>:

*Почему в этом доме только я за все отвечаю?*

3.2.1 Указание на собственное плачевное положение, создавшееся по вине партнера:

*Ты мне всю жизнь испортил! Ты меня совсем довела!<sup>46</sup>  
Ты меня убиваешь (в могилу сведешь).*

<sup>43</sup> Этот пример весьма красноречив сразу в нескольких отношениях. Он парадоксальным образом отражает истину — исчерпывающую предсказуемость и потому непродуктивность некооперативных форм взаимодействия. Однако ссылка на предсказуемость оказывается для агрессора поводом игнорировать любые высказывания жертвы, не замечать их, что представляет собой еще одну распространенную тактику. Агрессор и так уже все знает, он как бы читает мысли жертвы; поскольку жертва зачастую тоже убеждена в том, что все знает и может предсказать заранее, образуется порочный круг.

<sup>44</sup> Содержательно этот пример — разновидность дезавуирования партнера через указание на его принадлежность к иной группе, выделяемой внутри семьи (к иной подсистеме семьи; такие подсистемы образуются отношениями сына и матери, дочери и отца): «Вы все, Ивановы, такие! Это все ваша петровская кровь!»

<sup>45</sup> В нормальном разговоре выпячивание собственных заслуг расценивается как неуместное хвастовство и может вызвать ироническую реакцию партнера.

<sup>46</sup> Обратим внимание на тот факт, что здесь, как и еще в нескольких из вышеуказанных случаев, агрессор ссылается на прошлые звенья схизмогенетической цепочки, на некие прежние обстоятельства, якобы релевантные для объяснения ситуации, послужившей поводом для конфликтного взаимодействия.

Показательно, что многие из приведенных выше примеров имеют форму вопроса: право задавать вопросы и требовать ответа — право сильного. В принципе вопросительная форма высказывания говорящего, если это не риторический вопрос, подразумевает запуск определенного сценария взаимодействия, где слушающий обязан реагировать — скажем, ответом на вопрос или просьбу, скрывающуюся за вопросом (об этом уже упоминалось выше, см. сноску 18). Особенность вопросов агрессора в ситуациях обсуждаемого типа — отсутствие явных указаний на тип вопроса (реальный или риторический); соответственно, партнер спрашивающего не имеет ясности относительно того, как ему поступать — «мнется, жметя и не знает, что предпринять». Задавание вопросов, на которые задающий их знает ответ, само по себе характерное для ситуаций, где статус участников асимметричен (вроде допроса или экзамена), в повседневном конфликтном взаимодействии как бы воспроизводит это неравенство статусов, ставит отвечающего в подчиненное положение.

Особое место в инструментарии агрессора занимает демонстративная имитация разрыва (*убирайся, иди, куда хочешь; знать тебя больше не хочу; ты мне не дочь (сын); ноги моей здесь не будет* и т.п., ср. 1.3, 1.5), представляющая собой более сильную, эмфатическую форму отказа от коммуникации с целью шантажа. Покуда жертва приперта к стенке зависимостью от агрессора и условиями двойного связывания, шантаж остается эффективным.

Отметим, что многие из приведенных выше примеров и им подобных высказываний формально совпадают со свободными сочетаниями, используемыми в других контекстах, не предполагающих выяснения отношений в рамках схизмогенетической цепочки взаимодействий. Так, скажем, «Не ври!» или «Тебе к врачу надо» в некотором контексте могут быть более или менее нейтральным описанием или констатацией, иметь отношение к выяснению истины или к заботе о здоровье, а обещание, что ноги здесь больше не будет, в принципе может быть выполнено, а не брошено на ветер. Существенно, что в момент произнесения агрессор может быть совершенно искренне уверен, что именно он — жертва и что ему всю жизнь испортили или что ноги его здесь не будет.

В ходе конфликтного взаимодействия одна из возможных тактик жертвы (проигрышных уже потому, что она обращается к содержательному уровню) заключается в том, чтобы отвести от себя гнев и обвинения на том основании, что якобы послужившее причиной конфликта действие (или бездействие) не было умышлен-

ным: либо оно оказалось результатом стечения обстоятельств, либо незнания требований. Это может быть искренним убеждением жертвы<sup>47</sup>, что, однако, не имеет большого значения: как известно, незнание закона не освобождает от ответственности. Прегрешения вполне могут быть, с точки зрения агрессора, и невольными<sup>48</sup> — точнее, невольное прегрешение, по большому счету, на самом деле вольное, хотя жертва себе в этом и не отдает отчета. Дело в том, что агрессор обладает правом вменить жертве в вину недеяние, полагая это недеяние намеренным<sup>49</sup>.

Так, предположим, что в момент конфликтного взаимодействия агрессор перечисляет все пришедшие в голову поводы для упрека в адрес жертвы («обед опять не приготовлен», «окна не вымыты» и т.п., либо же «дверца опять болтается», «унитаз течет», «грязные носки опять брошены где попало» и т.д.), приписывая жертве злонамеренность. Жертва, не разделяющая картины происходящего, настаивает на том, что все произошло без умысла — «нечаянно», «случайно», «не специально» (а не «специально» или «назло») — и, следовательно, она не несет ответственности (или всей полноты ответственности) за положение вещей.

Для агрессора же вполне допустимо сделать что-то «специально», «назло», «нарочно», с коммуникативной, а не практической целью: увидев беспорядок, навести еще больший беспорядок — скажем, демонстративно сбросить имевшийся беспорядок на пол<sup>50</sup>, тогда как жертва ссылается на то обстоятельство, что беспорядок был создан не «специально» (как «специально» вещи были сброшены на пол), а как бы сам собой, ненамеренно.

Сломать до конца непочиненное, испачкать невымытое, привести в еще больший беспорядок неубранное — в сфере вербального взаимодействия эта логика дает риторические аргументы, доводящие до абсурдной противоположности исходный тезис: «раз добиться полной чистоты невозможно, то давай уж измажь все гря-

<sup>47</sup> Впрочем, формально совпадающим с отговоркой недобросовестного провинившегося.

<sup>48</sup> Ср. в тексте панихиды — там есть строчка с просьбой о прощении усопшему прегрешений вольных и невольных. С прегрешениями, совершенными в здравом уме и трезвой памяти, все понятно; а вот как быть с «невольными»? За нечаянно бьют отчаянно?

<sup>49</sup> Вопрос намеренности всплывает в риторике конфликта на разных уровнях (ср. *Ты что, специально меня доводишь? Чего ты добиваешься?*).

<sup>50</sup> Или в ответ на жалобы жертвы о неприготовленном обеде агрессор бросает пачку пельменей в холодную воду — будет вам обед.

зью», «раз жить в комфорте — мешанство, что же ты не раздашь все свое имущество бедным?»<sup>51</sup>

Можно дать более точную характеристику этому приему, используемому в риторике препирательства — и, соответственно, ходу рассуждения агрессора, которым он и самому себе объясняет свои действия. В модальной логике иногда различают сильное и слабое отрицание. Слабое отрицание суждения вида «необходимо, что р» выглядит как «не (необходимо, что р)», что эквивалентно «возможно, что не р»; сильное отрицание выглядит как «необходимо, что не р». Например, слабое отрицание для «здесь нужно надевать тапочки» имеет вид «здесь можно не надевать тапочки» (точнее, «неверно, что здесь нужно надевать тапочки»). Сильное же отрицание для «здесь нужно надевать тапочки» выглядит как «здесь нужно не надевать тапочки», т.е., в вольной интерпретации, надевать тапочки запрещено; говоря более абстрактно, слабое отрицание обязательства есть отсутствие обязательства, сильное отрицание обязательства есть запрещение<sup>52</sup>. Для сознания, не предполагающего возможности альтернативного собственному и нейтрального — вне рамок «сильной этики» — взгляда на реальность (в том числе не признающего иной пунктуации цепочки взаимодействий) произвольно взятое отрицание может мыслиться сильным.

Арсенал стандартных тактик жертвы невелик. Прежде всего отметим среди них<sup>53</sup> попытки довести ситуацию до явного абсурда, обратить ее в шутку. Юмор — одна из немногих тактик, позволяющих сместить фрейм восприятия ситуации и выйти из порочного круга предсказуемости. Приведем пример из письма копилки Татьяна Тэсс. В одном из ее очерков мать в письмах делится с дочерью житейской мудростью и рассказывает среди прочего такую историю:

<sup>51</sup> Кстати сказать, вторичное использование этого хода встречается в формулах экспрессивного отрицания вроде «вот сейчас все брошу и займусь твоими ...».

<sup>52</sup> Ион Эльстер в своей работе, где, в частности, разбираются логические основы социального и культурного устройства, описанного А. Зиновьевым в «*Зияющих высотах*», приводит целый ряд примеров из Канта, среди которых: слабое отрицание движения есть покой, сильное отрицание — движение в противоположную сторону; слабое отрицание богатства есть бедность, сильное — задолженность; слабое отрицание удовольствия есть безразличие (отсутствие удовольствия), сильное — отвращение (Elster 1988).

<sup>53</sup> Наряду с самоуничтожением и признанием вины, оправданиями, приданием буквального характера коммуникации (ср. попытки отвечать содержательно на риторические вопросы) и другими уступками агрессору.

Я легко обижалась по пустякам, а уж насчет упреков по любому пустяковому поводу была большая мастерица. Однажды твой папа сидел, уткнувшись в газету, а я изливала на него очередную порцию упреков. Неожиданно он ткнул пальцем в какую-то статью и сказал: «Представь, оказывается, у тебя есть однофамилец!» — «Какой однофамилец? Что за чепуха?» — взорвалась я. Твой отец с серьезным видом посмотрел на меня и ответил: «Генерал-майор Упрекайло». И мы оба начали неудержимо смеяться. Ох, Ирочка, каким великим помощником бывает в семейной жизни чувство юмора... (Тэсс 1980, 19)<sup>54</sup>.

Чувство юмора позволяет не противоречить агрессору напрямую, потому что в сложившейся схеме отношений это может не иметь смысла — тем более что, вопреки убеждению агрессора, конфликтное взаимодействие описываемого типа использует номинальный предмет общения лишь в качестве повода для очередного выяснения отношений.

Роли жертвы<sup>55</sup> предписана толерантность, способность прощать ближнему его настроения и выплески эмоций. В крайних случаях это превращается в систематическое обращение с агрессором как с полоумным, не отвечающим за свои действия по общепринятым стандартам приличий и этикета («не противоречь»).

<sup>54</sup> Ср. из романа Рильке, где жертва доводит конфликтную ситуацию до абсурда, не оставляя иного выхода, кроме юмористического осмысления: «Лишь однажды он во время трапезы постоял за себя перед супругой. [...] Оказывается, в свое время камергерша приходила в неистовство, если кто-то по неловкости проливал вино на скатерть. Каждое пятно, какими бы обстоятельствами ни вызванное, она замечала и подвергала, так сказать, суровому осуждению. И вот как-то раз такое случилось при многих важных гостях. Несколько безобидных пятен стали предметом ее жестоких нападков; и как ни старался дед ее унять незаметными кивками и шутками, она все громоздила упреки, которые, однако, вдруг пришлось ей оборвать на полуслове. Ибо произошло никогда не бывалое и непостижимое. Камергер велел подать ему бутылку вина, которым как раз обносили, и сам с большим тщанием стал наполнять свой бокал. Только, удивительным образом, он не перестал лить вино, когда бокал наполнился до краев, но в набухавшей тишине продолжал лить, медленно, осторожно, до тех пор, пока патал, не умевшая сдерживаться, вдруг не прыснула и своим смехом не обратила все в шутку. Вокруг облегченно расхохотались, камергер поднял глаза и отдал бутылку лакею» (Рильке 2000, 101).

<sup>55</sup> Тут следует подчеркнуть, что, несмотря на все возможные личностные особенности участников семейных конфликтных взаимодействий, речь здесь идет именно о ролях, а не о характерах. Не характеры, а конфигурация отношений определяет складывание схизмогенетических процессов и условий двойного связывания.

Такое открывающее дорогу семейному деспотизму отношение и чувство его естественности у членов семьи формируется у ребенка как часть освоения правил вежливости. Обучение вежливости и внутрисемейному этикету не предполагает осознания ребенком каких бы то ни было рациональных оснований вежливости. Просто есть определенные правила, с которыми не приходит в голову экспериментировать. В результате ребенок научается систематически делать скидку взрослому на его настроение и состояние («на самом деле она тебя очень любит»), приучается говорить о том, о чем принято, в принятых в семье терминах, а о том, о чем не принято упоминать, не упоминать<sup>56</sup>, считать своих родителей лучшими людьми и образцовыми супругами, а в конфликтном взаимодействии старается принимать за чистую монету декларируемый предмет общения, игнорируя истинное содержание взаимодействия, которого, кстати говоря, нередко не осознает и сам агрессор<sup>57</sup>. Собственно, о подавлении критического мышления в раннем возрасте и о психологической подоплеке деспотических взаимоотношений пронизательно высказывался в свое время Э. Фромм<sup>58</sup>, анализируя некоторые формы взаимоотношения супругов и родителей и детей в терминах заколдованного садомазохистского круга, который очень часто смешивают с любовью. Они настолько типичны и узнаваемы, что нельзя сказать, что это ненормально.

Вообще говоря, для вынесения суждения о том, что те или иные формы коммуникативного поведения отличаются от «нормального хода вещей» в сторону насильственного, нездорового или тоталитарного характера взаимодействий, необходимо постулировать набор предпосылок «нормального состояния». Такая нулевая ступень, по отношению к которой сторонний наблюдатель оценивает патологичность наблюдаемых отношений, предполагает набор банальностей — вроде бы настолько обычных, что едва ли кому-то приходило в голову его артикулировать. Это, например, представления о том, что в нормальных условиях человек находится в спокойном доброжелательном эмоциональном состоянии, в «хорошем настроении»; что настроение, мнения и эмоции людей связаны с внешними обстоятельствами и являются реакцией на некое объек-

<sup>56</sup> К вопросу о связи «тараканов» со «скелетами в шкафу».

<sup>57</sup> О том, как дискурсивные приемы могут служить материалом для формирования бессознательных моделей, см.: Billig (1997).

<sup>58</sup> См. главу «Механизмы бегства» в его труде (Фромм 1991), где впервые убедительно показаны параллели между моделями деспотических отношений на уровне семьи и на уровне общества.

тивное и в принципе верифицируемое положение вещей в мире; что метакоммуникативные сигналы отношений в общем случае не конфликтуют со смыслом содержательного сообщения; что люди в значительной степени контролируют свое поведение и проявление эмоций; что люди следуют принципу кооперации и нарушают коммуникативные постулаты только для того, чтобы получилась импликатура (Грайс 1985), а метакоммуникативные постулаты — только когда у них что-то стряслось<sup>59</sup>; что люди владеют принципами вежливости и приличия — и не нарушают их без причины. Над построением такого списка стоило бы задуматься. Входящие в него постулаты задают базовую структуру неосознаваемых ожиданий, касающихся нормального хода общения.

Заметим, что всякие рассуждения о норме неизбежно предполагают некоторую позицию наблюдателя, некую имплицитную идеологию. Нормальный ход вещей — состояние, принимающее разные значения в разных семьях. Семья представляет собой систему, стремящуюся к сохранению состояния равновесия, но это равновесие может динамически фиксировать систематическое воспроизводство схем патологической коммуникации, что может восприниматься как нормальный ход вещей и упорно сопротивляться модификации. С некоторой внеположной<sup>60</sup> позиции мы можем рассматривать эту воспринимаемую норму как носящую черты патологии, не забывая, однако, что понятие патологии в данном случае является теоретическим конструктом. Так, например, можно ожидать, что деспотичные стили внутрисемейной коммуникации, содержащие, в наших терминах, элементы патологии, скорее всего, оказались бы статистически доминирующими в русской культуре, возмись кто-нибудь провести соответствующее исследование.

Оставляя за кадром ряд важных характеристик (гендерные стереотипы, пол и возраст участников коммуникации и т.д. — их рассмотрение весьма плодотворно и составляет предмет отдельных исследований — см., например: Fitzpatrick, Ritchie 1994), отметим

<sup>59</sup> Ср. известные гарфинкелевские эксперименты, когда он предлагал студентам в качестве эксперимента вести себя так, будто бы они чужие в собственном доме. По сути дела, даже легкая модификация привычных коммуникативных (и метакоммуникативных) паттернов воспринимается как информативная, ибо она нарушает ожидания; невозможность информативного прочтения оказывается весьма травмирующей, потому что она ставит под вопрос отношения (Garfinkel 1984, 45—49).

<sup>60</sup> Плюс к тому — гуманистической и политкорректной.

лишь самые общие черты противопоставляемых нами двух коммуникативных стилей (ср., в частности: Ritchie 1991).

*Гармоничный* стиль коммуникации предполагает, что все члены семьи имеют право на открытое выражение мнений, в том числе и противоречащих мнениям других, что делает возможным конструктивное содержательное обсуждение мнений, причем открытое выражение эмоций ограничено лишь тем обстоятельством, что участники общения могут заботиться об эмоциональном комфорте партнеров. Все это определяет обычные в таких семьях способы разрешения конфликтов, не включающие в себя сильных форм некооперативной коммуникации<sup>61</sup>, а также дает детям больше возможностей для формирования коммуникативной компетенции, необходимой для полноценного общения в кругу сверстников.

*Деспотичный* стиль коммуникации проявляется в семьях, где есть существенные ограничения на формы и симметрию коммуникации. В конфликтных ситуациях старшие могут избегать открытого противостояния — например, дуются и не обсуждают противоречия, но отпускают едкие замечания. Дети здесь «не лезут не в свои дела», потому что многие дела взрослых относятся к разряду необсуждаемых, а значит, определенный круг тем не может быть затронут в разговоре; от детей ожидают подавления своих эмоций и проявления согласия с мнением старших, в результате чего они овладевают разнообразными способами избегания открытых конфликтных ситуаций, хотя со сверстниками применяют богатый арсенал словесных колкостей, унаследованный от родителей.

Шкала гармоничности—деспотичности является обобщением нескольких параметров коммуникативного стиля семьи, но отнюдь не исчерпывает его характеристики; другим немаловажным измерением является, например, степень контроля слабых со стороны сильных, варьирующая от «до всего есть дело» до «почти на все наплевать». Степень деспотичности и степень вовлеченности власти важны, в частности, для сопоставления стереотипов внутрисемейной коммуникации и стиля отношений между властью и

<sup>61</sup> Отметим, что здесь нет противоречия с тем, что выше сказано о ритуализованном наказании ребенка, в том числе и с применением физического насилия, на в целом гармоничном коммуникативном фоне такое наказание не воспринимается как «эмоциональное», «психологическое» насилие. Другое дело, что человек, глубоко интериоризовавший ценности тоталитарной группы, тоже не будет воспринимать как насилие деспотичность форм коммуникации властного агрессора по отношению к себе.

человеком на другом уровне — на уровне общества в целом<sup>62</sup>. Между этими уровнями нет сколько-нибудь прямой причинной связи — и было бы наивно объяснять распространенность и конкретные формы семейного деспотизма тоталитарным характером общества и, наоборот, выводить складывание деспотичного характера власти в обществе из распространенных особенностей семейных отношений. Однако это сопоставление не вовсе лишено смысла — во-первых, в силу разительного сходства некоторых черт и, во-вторых, потому, что опыт и коммуникативная компетенция, приобретенные в деспотичной семье, позволяют человеку воспринимать определенные формы властных отношений в обществе как нечто естественное, само собой разумеющееся.

Ситуация двойного связывания, комплементарно-схизмогенетические процессы и производные от них формы коммуникации и психологических защит характерны и для проявлений деспотизма на более высоком, нежели семейный, уровне. Оправдание тоталитарной власти, несмотря на ее «отдельные недостатки», мазохистическая любовь к родине, которая в лице коллективов и официальных инстанций обладает монополией на правду и на выбор способа общения с индивидом — все это механизмы, транслирующие себя через практики воспитания, будь то семейные или общественные.

<sup>62</sup> Если угодно, можно рассматривать семейные отношения как основание метафоры, пригодной для выражения некоторых параметров отношений в обществе. В этой перспективе, например, по шкале вовлеченности власти в повседневные дела индивида брежневская эпоха окажется ближе к полюсу «почти на все наплевать».

## IV

### ПОЛОВЫЕ СТРАТЕГИИ

УДК 316.356.2(47)  
ББК 60.561.5(2Рос)  
С 74

Дизайнер серии Д. Черногаев

Издание осуществлено  
при финансовой поддержке  
"Civic Education Project/SCOUT"

С 74 **Семейные узы: Модели для сборки:** Сборник статей.  
Кн. 1 / Сост. и редактор С. Ушакин. — М.: Новое литературное  
обозрение, 2004. — 632 с., ил.

Метафоры социального и кровного родства стали в последнее время едва ли не господствующей формой концептуализации политического, экономического и культурного развития: от «ельцинской Семьи» до «питерского клана», от «Солдатских матерей» до «батяни-комбата», от «солнцевской братвы» до «дедовщины», наконец, от «Моей семьи» до кинодилогии о «Брате».

Используя обширный исторический, социологический и культурологический материал, статьи, собранные в этой книге, пытаются объяснить привлекательность родственных связей и семейных уз. В первом томе сборника исследуются идеологические контексты существования семей, способы формирования семейных союзов, а также разнообразные бытовые тактики и половые стратегии семейной жизни.

Книга рассчитана не только на специалистов в области истории, социологии и антропологии семьи, но и на всех тех, кого интересуют тенденции трансформации семьи в настоящем и прошлом.

УДК 316.356.2(47)  
ББК 60.561.5(2Рос)

ISBN 5-86793-281-8 (Кн. 1)  
ISBN 5-86793-283-4

© С. Ушакин, сост., 2004  
© Авторы, 2004  
© Новое литературное обозрение, 2004

## Содержание

*Сергей Ушакин.* Место-имени-я: семья как способ организации жизни ..... 7

### I. ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ

*Ян Еремеев.* Психопозитика ссылки: сказка о декабристской Семье ..... 55  
*Ирина Разумова.* Родословие: семейные истории России ..... 90  
*Александр Прохоров.* «Человек родился»: сталинский миф о большой семье в киножанрах «оттепели» ..... 114  
*Ольга Шабурова.* Караваны историй: семейный нарратив в массовой культуре ..... 134  
*Ирина Савкина.* Род/дом: семейные хроники Людмилы Улицкой и Василия Аксенова ..... 156

### II. РОДСТВО ПО ВЫБОРУ

*Ольга Казьмина, Наталья Пушкарева.* Брак в России XX века: традиционные установки и инновационные эксперименты ..... 185  
*Дэвид Л. Рансель.* Посиделки, приданое, свадьба: организация замужества в сельской семье XX века ..... 219  
*Мария Литовская, Елена Созина.* От «семейного ковчега» к «красному треугольнику»: адюльтер в русской литературе ..... 248  
*Надежда Нартова.* Лесбийские семьи: реальность за стеной молчания ..... 292  
*Брайан Джеймс Бэр.* Отцы и дети и любовники: «голубые» родители в постсоветской России ..... 316